

Николай Матвеевич

ЛЮБИМЕЦ

МУЗ

Он никогда не считал сочинение писем легким делом и, по возможности, старался отделаться маленькими шутливыми открытками, написанными в одну фразу; короткие и, по большей части, ничего не сообщающие, эти писульки были расчитаны на одобрительные улыбки друзей, с которыми он виделся раз в полгода и, когда они собирались вместе, ему казалось, что никакие письма не могут заменить радости нескольких дней, проведенных с друзьями где-нибудь на островах. Месяцы разлуки накапливали события, и при встрече им всегда было о чем поговорить. Но письмо к ней — это совсем другое дело, — говорил он себе, возбужденно прохаживаясь по комнате. И, прежде чем сесть за стол, ему захотелось, как бы это сказать, — обставить, что ли? То есть: сигареты, ну, там, чистая бумага, конверт, ручка, которую он всегда предпочитал карандашу, и чуть ли не кофе, потому что спать все-таки хотелось, хотя он всегда, даже и самому себе старался доказать собственную непрятязательность к быту и слегка гордился умением писать чуть ли не на улице. Некрасиво было, конечно оправдывать свое столь долгое бездействие усталостью, особенно когда он сам чувствовал, что она несколько наиграна, тем более, что она несколько наиграна, тем более, что за всей этой игрой в прятки с самим собой стоял элементарный страх, который, если начался у человека пишущего, то не пройдет уже никогда. Это страх перед белым листом бумаги и самым первым словом, которое само по себе ничего не значит, а, вернее, значит слишком много. И ему трудно было

так вот сразу брякнуть в самое начало письма такую претенциозную фразу, от которой он знал- она будет отбрыкиваться руками и ногами, потому что фраза была слишком до смешного, завершенной, все равно как открывает наугад Евангелие, как это говорится, "на себя": "и кому нужен тот дождь, который идет в пустыне?"

И, все-таки, он написал ее, предварительно проделав обильное извинение, хотя и прекрасно понимал, что это совсем не в его пользу; тот недостаток, которым он страдал в разговорной речи, он умудрился перенести на бумагу, и сам поспешил себя в нем изобличить, может быть даже для того, чтобы отнять у нее торжествующее "ага"!, которое он слышал каждый раз, как претворял собственную, пусть даже и не слишком неудачную, мысль нужным предисловием, высказанным в извиняющемся тоне. И он думал, что может быть, дело в том, что он никогда не чувствовал за собой права ходить с гордо поднятой головой, и причины этого надо искать скорее в детстве, проходившем под страхом силы других, силы, которой он не обладал, а позже не захотел обладать ею по причине внезапно возникшей жалости к людям, которая, конечно, не могла быть ничем иным, как усердно взращиваемой жалостью к самому себе. Временами это переходило в страх и достигало угрожающих размеров душевной болезни, истинный смысл которой он понял значительно позже: то, что он привык во время таких приступов считать страхом смерти, было ничем иным, как страхом перед жизнью еще предстоящей. То, есть, конечно, не перед трудностями или, там, лишениями, неизбежными для каждого человека, а, тем более, художника, который....

и т.д. Нет, это был страх перед пустотой, которую предстояло заполнить, и когда приходило бессилие перед тем огромным пугающим пространством, которое называется завтра.

Когда он перечитывал написанное, по несколько раз взглядываясь в отдельные слова, и тупо, почти вслух повторяя собственные фразы, то даже и не заметил, что все это с легкостью можно уподобить тому самому первому слову на листке бумаги, которое может впоследствии стать чем угодно, а, в зависимости от его прихоти, даже ядом. То есть, первой каплей того яда, который он, может быть, сам того не зная, готовил ей на потеху. И результат этой затеи мог оказаться гораздо более серьезным, чем можно было предположить, зная ее защищенность и умение скрывать истинное отношение к предмету. И, наверное, первый раз в жизни, его не волновала неискренность ее реакции, потому что первый раз он нуждался— так ему казалось— в какой бы то ни было отдаче и заранее мог признаться в бесплодности предпринимаемой им попытке что-либо изменить. "Если это и наркотик,— писал он в конце письма,— то только для меня. И я это знаю."

## II

И все таки он не мог с уверенностью сказать, что могло заставить его так невыносимо долго ждать ответа на письмо, как он понимал, заранее обреченное, хотя бы даже и потому, и только потому, что оставить его без ответа невозможно. Более того, он сам поставил все на самую слабую карту, как будто он и не понимал, а, вер-

нее сказать, не думал тогда о том, что и стиль и общий настрой письма имели совершенно определенную заданность, не заметить которую было невозможно даже и не зная предысторию отношений между ними. Ему казалось, что самое главное— это построить письма так, чтобы уменьшить, а по возможности и вовсе устраниить вероятность легкого и ничего не значащего ответа до минимума и, поскольку это ему удалось, то про себя он уже назвал это своим самым главным промахом. В самом деле, совсем не обязательно было понимать, что он пытается ее к чему-то <sup>та</sup> понудить, достаточно было почувствовать это, <sup>и</sup> вот он получил то, что ожидал менее всего— молчание. Он знал, что письмо не могло ошеломить или оттолкнуть своей откровенностью, ведь даже на ранней стадии их знакомства он был недостаточно осторожен и сейчас он прекрасно понимал, что уже тогда это могло показаться намеренным, да, наверное, и показалось, хотя она, может быть, просто не подавала виду, что замечает это. Но после нескольких неловких попыток к сближению он по решительности и, даже резкости отпора понял, что его действие прямо или косвенно попадали в цель. На первых порах он думал, что его присутствие и, так сказать, попытки сдвинуть их отношения с мертвой точки воспринимаются ею как должное, но позже догадался, что это значило бы, пусть даже в ничтожной степени, подчинить его себе, а, следовательно, значит и принять со всеми его— как он выражался— недоделками, а этого она никак не могла бы себе позволить. И не потому, что ей было бы неприятно поставить кого-то в простейшую форму зависимости, скорее наоборот, это даже польстило бы ее самолюбию, а потому что та

и зависимость, которую он ей постоянно предлагал, — а в этом злосчастном письме даже и навязывал, — в свою очередь требовала какой бы то ни было отдачи — таково было негласное условие, которое он, может быть, впервые в жизни, комуто поставил. Он с неожиданной тревогой вспомнил ту, поразившую его радость, когда письмо было кончено и то, как он нес письмо на почту и как перед ящиком перечитывал давно знакомый адрес и даже подправил некоторые цифры, которые показались ему невнятно написанными. Он понял, что искал гарантий безотказности совершенного им насилия и то удовлетворение, которое он первоначально испытал, уже не казалось ему естественной реакцией мозга на хорошо выполненную работу — это была радость превосходства, доселе ему неведомая, а потому казавшаяся чем-то неестественным, так как со временем он, незаметно для себя, вошел во вкус унижений, приходившихся на его долю, и позже, когда осознал это, то к собственному удивлению не ужаснулся, ибо понимание собственного падения было унижением, так сказать, высшего порядка, ведь он сам себя ему подвергнул. По возможности он скрывал это от других, потому что предпочитал в одиночестве наслаждаться своими болячками и, к тому же в этом была сладость тайны, которой он придавал значение чуть ли не страшного порока, и в этом была его жизнь, его хлеб, тот ядовитый источник, из которого он черпал силы для создания своих фантастических и мрачных опусов, обладающих тяжестью дурного сна. Среди его рассказов было несколько даже прекрасно написанных, но и они оставляли у слушателей невероятно тосклившее ощущение, какое быва-

ет у человека, случайно забредшего в нежилой дом. Неосторожно где-то сказанная шутка о мазохисте, которого не пустили в сад, выдавала его с головой; он понял это, когда она, вопреки ожиданиям, не рассмеялась и, хотя шутка имела успех, настроение его упало, но к счастью, не настолько, чтобы кто-то кроме нее мог заметить, что острота не в его пользу, и только потом он понял, что она раскусила его давно, но тогда вечером лишь дала понять, что он разгадан, и сейчас его мучил вопрос, почему она позволила себе такое неосторожное проявление близости, ведь иначе он это и назвать не мог, поскольку отношения между ними — по крайней мере с его стороны — мало чем отличались от обычного приятельского трепа. Вдруг он понял — и совершенно отчетливо, — что вовсе не он был обречен, как это казалось тогда, а она! И, значит, именно это ничтожное проявление причастности побудило его в дальнейшем к более решительным действиям, а именно, к тому единственному письму. И сейчас он даже и не думал казнить себя за него, так как понял очень важную для себя вещь: этим письмом он, сам того не желая, заставил ее молчать, а значит сможет заставить и говорить!

И теперь сознание собственной силы уже не казалось ему таким пугающим, как совсем недавно, напротив, радостное возбуждение овладело им, и сейчас он уже не пытался сдержать его.

## III

Конечно, на первых порах ему было приятно чувствовать себя почти победителем, тем более, что победа, как он считал, досталась совсем нелегко, и он даже был рад продлить сладкую муку обоюдного молчания; все равно как маленькие играли в "молчанку": кто первый заговорил, то и проиграл.

Прошел уже почти месяц, как он отправил письмо, и теперь он с поразительной ясностью понял, что ответ должен прийти буквально на неделю. Потому что она всегда была убеждена в полной его неспособности вытерпеть даже физическую боль, тем более, значит она, зная хорошо его нетерпение, поначалу ждала, а теперь, конечно, устала ждать второе письмо, а в том, что он напишет его она, скорее всего, и не сомневалась. Впрочем, думал он, она могла принимать его нетерпение за назойливость, хотя на самом деле ему была важна не столько значительность или незначительность желания, сколько сиюминутность исполнения или, что важнее, сиюминутность реакции на его действия. Изредка она доставляла ему это удовольствие, как он сейчас понимал, чисто мнимое, потому что в силу очевидной неискренности контакта при этом возникла всего лишь иллюзия общения, правда, достаточно крепкая, чтобы их общие знакомые могли называть ее между собой романом.

Он отчетливо представил себе как она каждый день — пусть даже с ненавистью! — но все-таки смотрит в почтовый ящик и даже, может быть, испытывает при этом муки нетерпения, которые он в полной мере испытывал сам после

стольких дней ожидания; и его чуть ли не радовала, так сказать, родственность испытываемых ею страданий. Зато теперь, думал он, можно спокойно подождать покуда тревога, пришедшая на смену, вероятно, недружелюбному удивлению, не заставит ее написать ответ. И, как бы тому не противился ее характер, она не сможет скрыть истинного отношения ко всему написанному в письме и, наверняка выдаст себя хотя бы словом, и это будет уже достаточной для него наградой, потому что это будет признанием ее поражения. В искренности ожидаемого ответа он не сомневался: ее слишком измучит нелогичность поведения человека, каждый шаг которого, как она однажды—хоть и в шутку, — заявила, известен ей за два дня вперед со всеми последствиями. Такая уверенность основывалась на известной схематичности его поведения, которая на деле была лишь скованностью, которую он легко мог бы объяснить на примере мальчика-колеки, приглашенного на танец первой красавицей класса. Но сейчас то обстоятельство, что он выставляет на показ свои уродства вовсе не смущало его. Напротив, он даже считал это наилучшим способом достижения цели, так как втайне был убежден в ее тщательно скрываемой порочности ~~и~~, тем самым, надеялся попасть в резонанс ее внутренним мукам. Таким образом то, чего он так недавно стыдился, ему удалось обратить в достоинство силы, внезапное и счастливое осознание которой привело его теперь в состояние такой уверенности в себе, что он решил даже неделю не ходить на почту, чтобы потом, насладившись ожиданием сполна, прийти победителем и спокойно взять письмо в руки.

Странно, но в то время он совершенно не задумывался над тем, что делить шкуру неубитого медведя по меньшей мере опрометчиво. Всю положенную им для себя неделю он беспощадно убивал время на какие-то мелкие хлопоты и, кажется, первый раз за этот месяц время шло ~~не~~ то, чтобы быстро, но как-то так, будто он наблюдал себя со стороны, и это было уже не так мучительно, потому что ожидание перешло в другую, доселе ему неведомую стадию: он ощущал нависшую над ним прорву времени и иногда с ужасом, но чаще с холодным и, как ему казалось, демоническим спокойствием наблюдал проходящие дни, будто перелистывал страницы прошлогоднего календаря. Будущее сделалось прошлым—разумеется до получения письма—и интересовало его лишь как метод осознания собственного могущества над временем. И даже накануне того дня, который он уже назвал днем получения письма, он, казалось был совершенно спокоен и чуть ли не досадывал, что завтра он лишится такого великого наслаждения, каким становилось для него ожидание, прежде такое мучительное. Где-то очень далеко существовала необходимость действия, но так еще долго было ждать до завтра, что он этой необходимости как бы и не замечал, такой неопределенной она казалась.

Ближе к ночи им вдруг овладело необъяснимое волнение, настолько сильное, что он чуть не задохнулся. Впрочем, волнение исчезло так же быстро, как и появилось, но такой неожиданный взрыв вполне, как он считал, стабильного состояния, ему не понравился. Перед сном он при-

нял снотворное, потому что мысль о бессонной ночи показалась ему вдруг ужасной.

## II.

Проснулся он позднее с неприятным ощущением только что забытого сна. И сон этот показался ему настолько важным, что он всю дорогу до почты мучительно силился вспомнить что же это было, но не мог: виделось ощущение сна, этакое вялое облако, из которого он безуспешно стрался вылепить хоть что-нибудь реальное. Все его вчерашние тревоги незаметно отошли на второй план, и лишь бесформенное это облако прочно повисло в мозгу; уже на почте он почувствовал, что им овладевает тяжелейшая апатия, но противиться ей он уже не мог. Он чуть даже не ушел с почты, но, спохватившись, равнодушно протянул паспорт и также равнодушно выслушал обычное: "нету", - недоуменно пожал плечами и вышел.

....бредущего ночью в пустыне с одной лишь луной на грани чернеющих гор впереди, где как будто извитое жадным плющем вырастает огромное дерево, дерево, тоскливо, холодно и медленно, будто бы дым или облако в черных прожилках ветвей.

И что оно? И почему оно желаннее других деревьев в долинах и на склонах гор, - деревьев тоже; желанней яблок, может быть, уже опавших, упавших в снег, лежащих на снегу; и ягоды, отряхивание ягод с голых веток, почти без листьев -непереносимо.

О, жуткая возможность измененья! Не знаю, как начать, какое слово выбрать: однажды летом, в самом даль-

нем детстве... Нет, не так: мне снится деревце, трава прижата ветром, дождь кончился, стена сухая сохнет, и на нее, как вены на руку, толубоватая ложится тень ветвей и чуть дрожит от ветра.

Так неужели это я, однажды летом, в самом дальнем детстве своими глупыми и вялыми руками.... Как выросло оно! Как безобразны ветви, как мне страшно ...

И тогда, ослепленный песком я увидел: на грани чернеющих век израстаясь, срастаясь с луной, дрожа на изломе далекой гряды, вырастает ветвями, лианами, будто из лака тусклого лунного дыма огромное дерево, дерево, корнями из тьмы мне навстречу....Иду я.

х х х

А впрочем, все это было уже совсем неважно, шло как-то мимо вскользь; он сидел на кровати и видел как в большом никелированном шаре отражался тусклый комнатный вывернутый мир мир.

17.08.73.